**Прощание с Матерой (В.Распутин)**

Опять наступила весна, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Огороды посадили уже не все — три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, как только стало ясно, что слухи верные. Да и хлеб посеяли не на всех полях. И Матёра теперь вроде не та: постройки на месте, лишь одну избенку да баню разобрали на дрова, жизнь вроде идет, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а “уже повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась”. Больше стало беспорядка — не видно хозяйской руки. Во многих избах не белено, не прибрано, что-то уже увезено в новое жилье, а что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали — и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; останавливались на ночевку торговые люди; везли по воде арестантов, завидев обжитой берег, тоже подгребали к нему. Знала деревня и наводнения, пожары, голод, разбой.

На высоком чистом месте, как и положено, была в деревне церквушка, да в колхозную пору приспособили ее под склад. Была своя мельница. В последние годы дважды на неделю садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район ли народ приучился летать по воздуху. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет веку и деревне; уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. “Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строится плотина для электростанции, вода поднимется, затопит все кругом и уж, конечно, Матёру”.

И вот оставалось последнее лето; осенью поднимается вода.

2

Старухи сидели втроем за самоваром и, часто умолкая, вели разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности они не знали, потому как церковные записи куда-то увезли — концов не сыскать. Потому о возрасте своем они говорили, отталкиваясь от какого-нибудь застрявшего в памяти события. Третья старуха, Сима, не могла участвовать в таких воспоминаниях — ее занесло сюда меньше десяти лет назад из другой ангарской деревни, а туда — откуда-то из-под Тулы, и говорили, что она видела Москву, чему в деревне не очень-то верили. В Москву, поди, всех подряд не пускают. Прозвище Симе дали “Московишна”. Судьба ей, похоже, досталась не сладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках. В Матёре она поселилась в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась.

Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, несмотря на годы, была пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Сын с невесткой уже уехали и наезжали раз в неделю, а то и реже.

Было начало июня. Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. “Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, — рассказывала старуха Настасья. — Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну...” Ей и старику ее Егору предстояло скорое, раньше других прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Хотел он потом переиграть на совхоз, но оказалось, что поздно, нельзя. Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, квартира для них была готова, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело — лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз им приказали быть готовыми к троице.

А до троицы оставалось всего-то две недели.

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и оставалась ей одна дорога — в Дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие: Колька, в котором она души не чаяла. “Мы с Коляной хоть поползем, да на одной веревочке”, — говорила Сима.

Дарья, потеряв мысль разговора, заявила с неожиданно взявшейся обидой:

— Доведись до меня, взяла бы и никуды не тронулась. Пущай топят, ежели так надо.

— И потопят, — отозвалась Сима.

— Пущай. Однова смерть — че ишо бояться?!

— Ой, да ить неохота утопленной быть, — испуганно остерегла Настасья. — Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас ук-ладали, и нас туды.

— Рать-то твоя поплывет.

— Поплывет. Это уж так, — сухо и осторожно согласилась Настасья. Вошел лохматый босоногий старик и возгласил:

— Кур-рва!

— Вот он, святая душа на костылях, •— без всякого удивления сказала Дарья и поднялась за стаканом. — Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не идет. Садись, покуда самовар совсем не остыл.

— Кур-рва! — снова выкрикнул, как каркнул, старик. — Самовар-р! Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!

— Кого грабют? Че ты мелешь?

— Хр'исты рубят, тумбочки пилят! — кричал Богодул и бил об пол палкой. Торопливо завязывая платки, все кинулись на кладбище.

“Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном взвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее берега”. Те, кого Богодул называл чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем. Здоровенный, как медведь, мужик, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на землю свою работу и опешил: “Ты чего, ты чего, бабка?!”

— А ну-ка марш отседова, нечистая сила! — задыхаясь от страха и ярости, закричала Дарья и снова замахнулась палкой. — Марш, кому говорят! Чтоб счас же тебя тут не было, поганая твоя душа! Могилы зорить... — Дарья взвыла. — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!

На шум из кустов вышел второй мужик. Он заявил, что они санитарная бригада, ведут очистку территории.

Вскоре сбежалась вся деревня. Увидев, что сотворили мужики, их хотели было утопить, но те выкрикнули, что на их стороне председатель сельсовета Воронцов. Мужиков погнали туда. Тот заявил, что так положено, есть специальное постановление.

“...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно

кресты, устанавливали тумбочки”.

4

Мало кто помнил, как Богодул появился на Матёре. Сначала он просто заворачивал сюда на своей лодчонке. Был он менялой — из одной прибрежной деревни возил в другую необходимое. А потом остался на Матёре, поселившись в бараке, сооруженном еще колчаковцами в гражданскую войну. Уже много лет он выглядел глубоким стариком, но с годами как-то не менялся. “Был он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью, сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполне могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лийь горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камней, ни колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них, настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость наросла новая”. Поляк он был или нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же “курвой” и ее родственниками. Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал. А раз так, ясное дело, не любили его старики, которые говорили про него, что он каторжанин, был сослан в Сибирь за убийство.

Грядущее переселение словно бы не коснулось совсем Богодула — или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь, пристроиться возле старух и на новом месте. Своим корявым языком он заявлял, что живых людей топить не имеют права. После истории на кладбище Богодул пришел к Дарье не к вечеру, как обычно, а с утра, допил свой стакан чаю, поставленный еще вчера. Дарья поставила самовар, заварила чай, разлила по стаканам. И вдруг, словно уловив что-то, замерла. И заговорила: “Седни думаю: а ить они с меня спросют. Спросют: как допустила такое хальство, куды смотрела? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня. За какие грехи? Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень — однуе меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ко, затопят, раз уж на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет... Тятька как помирать, а он все в памяти был, все меня такал... он говорит: “Ты, Дарья, много на себя не бери — замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть”. Раньше совесть сильно различали. Если кто норовил без нее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили... Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас... Мамка до смерти воды боялась. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшный он был... он когда... щас... — Дарья растерянно запнулась; уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: — Он ка-ак: догонит все ж таки мамку вода”. Дарья поднялась и, остановив Богодула, который хотел идти с ней, вышла из избы. Она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре и осмотрелась окрест. Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие берега, и свою Матёру... И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Дорога поворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами — сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего своей век-Как с ним быть? Дерево еще туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба — досаждать другим. “Так ли это? Так ли?” — со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.

Скоро, скоро всему конец. Дарья пытается и не может%однять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла.

5

Приезжает старший сын Дарьи Павел. Рассказывает о новом поселке, совершенно не приспособленном для крестьянской жизни.

В самой Матёре есть и такие, что готовы поскорее сжечь свои дома и получить деньги. Родина для них ничего не значит.

6

“А когда настала ночь и уснула Матёра, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек — Хозяин острова. Никто его никогда не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле... И хотя предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть Хозяином, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать”.

Обход острова Хозяин начал с барака, где жил Богодул. Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матёре, и достанет наконец Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето...

Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться.

Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами, но, когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готова. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и солнца, потому что огонь — это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти.

Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью, поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепот-ливо клонились к воде по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы. Остров собирался жить долго.

7

Прошла троица. Уезжают Настасья с Егором. Настасья, совершенно потерянная, ходит по избе и разговаривает с вещами. В сентябре она еще собирается приехать сюда копать картошку. Настал последний день. Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Всю хозяйственную утварь приходится бросать. Дед Егор берет с собой ружье и весь припас, хотя сомнительно, чтобы в его годы ружье пригодилось ему. в большом городе. Настасья ни за что не хочет бросать прялку. Она просит подошедшую Дарью приютить ее кошечку Нюню, куда-то пропавшую. Собираются молчаливые, подавленные соседи. Настасья отдает ключи от дома Дарье. В моторке их ждет Павел. Он завел мотор — лодку со стариками дернуло и потащило — все быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.

8

В первую жаркую летнюю ночь на Матёре Петруха сжег свой дом. Люди столпились вокруг — вся оставшаяся живая деревня, даже рабятишки. Но и они не гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня. Голосила одна Катерина. Подошла Дарья и стала рядом с ней. Все знали — то же самое будет и с их избами, просто Петрухина первая. Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба, что и не верилось в людей рядом, — будто было это давным-давно. Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала первой — легче будет потом. Она свой черед прошла.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост и видел все от начала до конца. Но он видел и дальше...

9

Павел приезжал все реже. В совхозе его поставили на ремонт техники, назначив бригадиром. Организована работа была из рук вон плохо. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство, — куда растолкать многочис: ленное прежнее колхозное чинство, людей среднего и высшего эшелона, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь, научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой.

Павлу стало спокойнее, когда к Дарье перебралась Катерина. За последние месяцы Павел просился на сенокос и уборку сюда, в Матёру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров. Но особо не настаивал — боялся, что его заставят тут же заодно проводить и другую уборку — сжигать постройки. Павел знал, что надо переезжать с Матёры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. Зачем, по какой причине надо было относить его за пять верст от берега моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный склон сопки — этого никто понять не мог. Строили не для себя, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно ли будет жить. Рассказывают, что даже начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, будто бы выматерился и признал, что будь его воля, он ни за чем бы не постоял, а перенес поселок куда надо. Но дело было уже сделано, деньги угроханы.

Вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена? Не переплатить бы! На новой пашне земля черная, а подняли ее — она красная, впору кирпичный завод ставить. Выходит, надо жить, не оглядываясь, не задумываясь. Хлеб не родит земля — привезут тебе хлеб готовенький! Молока не станет от собственной коровы — привезут и молоко. И картошку, и редьку, и луковицу — все привезут. А где возьмут — не твоя забота. Но зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько, выгадывая на один день, потеряли наперед — и почему бы это не подсчитать заранее?

Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Привезет ее — забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Наблюдая за матерью, он все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.

Подпалив дом, Петруха сжег и все материны припасы, так что Катерина жила теперь на Дарыгаых харчах. Больше всего она убивалась по самовару, Петруха спас только свою безголосую гармонь. Катерина все еще надеялась, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. А теперь вот не стало ни дома, ни самовара, ни русской печи. Дарья ругает Катерину за то, что всю жизнь давала сыну поблажку — вот что и вышло. Никакой работы он не делал как полагается, жил одним днем. Вину за Петрухино сумасходство Катерина взваливает на себя. Они с Дарьей рассуждают, откуда берутся такие люди, как Петруха.

11

“Но еще сумела, всплеснулась жизнь в Матёре — когда начался сенокос” . И Матёра ожила пусть не прежней, не текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницу, чтобы наладить технику на-конной тяге, достали литовки — и поднялся с постели дед Максим. Понадобилось — и поди ж ты! — как раньше отыскались литовки, и оказался жив дед Максим.

И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на десять же лет и стариться. Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слез. И подступали с вопросом: “Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому”. И соглашался народ, задумываясь: “Некому”. Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, — ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были. Приезжали не только из совхоза, из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры.

Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что ни на есть милостивая. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше того — от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!., где, в каком краю может еще так пахнуть! По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе — полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Говорили мало и негромко. Не думалось о жизни прожитой и небоязно было того, что грядет: только это, как обморочное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось оставаться.

...Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди...

12

В первый дождливый день приехал Андрей, младший сын Павла. Андрей, здоровый рядом с отцом, без терпения, пока бабушка Дарья собирала на стол, ходил туда-обратно во двор и со двора в избу, громко топал на крыльце ботинками, вспоминал и спрашивал о деревенских, от нечего делать ласково

задирал Дарью:

— Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?

— Куируюсь, куируюсь, — даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала она.

— Неохота, наверно, отсюда уезжать?

— А какая тут охота. На свом-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да ползали полегоньку, а вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.

Андрей считает, что пока человек молод, надо все посмотреть и везде побывать. Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней, на что Дарья откликается: “Распорядись... Охота на тебя поглядеть, до чего ты под послед распорядишься... Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все можешь?” Ну а по мнению Андрея, человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. Что захочет, то и сделает.

— Это сделает, сделает, — соглашается Дарья.

— Ну, так что ты тогда говоришь?

— То и говорю. И помнет и подымет. Ты со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. И про людей я разглядела, что маленькие они. Как бы они ни представлялись, а маленькие. Жалко их. В тебе сила играет, ты думаешь, что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Люди про свое место под богом забыли — от че я тебе скажу. И мы не лутчей других, кто до нас жил. Бог, он наше место не забыл, нет. Он видит, загордел человек, ох, загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный, который под собой сук рубил, тоже много чего о себе думал. А шмякнулся, печенки отбил — дак он об землю их отбил, а не об небо. Че говорить — сила вам нонче большая дадена. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта... Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.

За столом долго разговаривали, и выяснилось, что Андрей собирается участвовать в затоплении Матёры. “Много ли толку от этой Матёры?” — говорит он. Дарья напоминает Павлу о том, что надо перенести могилы предков. Андрей удивился.

13

Дождь все лил и лил. Спасаясь от сырости, топили печи. Петруха без конца приставал к Андрею с разговорами о стройке, куда собрался ехать, но с тем, чтобы ему там дали квартиру. Мать его Катерина, оставшаяся ни с чем, поселилась у Настасьи.

В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще от какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. Правда в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Неизвестно откуда пришла боль, тихая, глубокая, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не знал, что ты — не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, но потерять его иной раз нестрашнее, чем потерять руку или ногу. Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истиннный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните.

Вот стоит земля, которая казалась вечной, но, выходит, что казалась — не будет земли. Почему, почему при них, кто живет сейчас, ничего не станет на этой земле? — не раньше и не позже? Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?

Промежутки от дождя до дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. В один из таких не устоявшихся еще, шатких дней — не дождь и не вёдро, не работа и не отдых — приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воду. Первым говорил Воронцов — о том, что надо закончить сенокос по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на него так, будто он свалился с луны: что он говорит? — дождь за окном. И верно, опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он толковал свое. Представитель из района, по фамилии Песенный, приказал, чтобы к половине сентября Матёра была полностью очищена от всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа Государственная комиссия поедет принимать ложе водохранилища.

— Да мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же задурит погода... — несмело возразил кто-то.

Песенный развел руками; отвечал Воронцов:

— С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный урожай мы обязаны убрать. И мы его уберем. В крайнем случае из города силы подъедут.

Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил матёринцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию.

И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября. Полтора месяца осталось. Не заметишь, как и пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже без Матёры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо человечьи глаза. И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

14

Андрей тоже послушал на собрании, что привезло начальство. Вернувшись, подробно передал Дарье. Она только и сказала: “Но-но” — и добавила: “Вот так бы и человеку. Сказали бы, когды помирать, — ну и знал бы, готовился... без пути не суетился бы...” Вспомнив разговор, который состоялся в день его приезда, Андрей заговорил:

— Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко.

Помнишь, ты говорила?

— Помню. Как не помню.

— Почему тебе его жалко?

Дарья попыталась отшутиться, но Андрей не отставал.

— А че ты, не маленький ли, че ли? — спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. — Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-л... страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ней, а он да-авно уже не хозяин. Давно из рук ее упустил. Он только успевай поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось, а че уже ветром унесло... Не-ет, он тошней того — ну понужать, ну понужать! Дак он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж — че там!..

Андрей принимается рассказывать Дарье о машинах, которые все делают. Как же может человек надсадиться? Она, наверное, рассказывает ему про старого человека, который сто лет назад жил?

Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась:

— Я знаю, про че говорю. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не надрываете — че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?

Андрей улыбнулся:

— Есть, говорят, такая.

— Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и Бог, парень. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. А кто душу вытравил, тот не человек, не-ет! На че угодно такой пойдет, не оглянется. Да без ее-то легче. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Щас все бегом. И на работу, и за стол — никуды времени нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится? Я на отца твово погляжу. Рази он до моих годов дотянет?.. Она, жисть ваша, ишь какие подати берет: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней зат- ребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не остановишь. Пеняйте на себя. Прости, Господь милостивый, прости меня, грешную, — перекрестилась Дарья. — Я че?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе более того скажу, Андрюша, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне. А все ж таки топют.

— Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.

— А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру — ежли вы все можете, ежли вы всяких машин понаделали... Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому лишней не дал. А вам она лишняя стала.

— Нету, бабушка, таких машин. Таких не придумали.

— Думали, дак придумали бы. Помолчав, она заговорила снова:

— Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не смотреть — родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится. За одно за это его надо пожалеть. Никто на свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...

15

Дожди ушли. Снова занялись сеном. А Дарья не уставала напоминать о могилках предков, что очень удивляло и даже пугало Андрея. Однако на следующий день Павла срочно вызвали в поселок. Кто-то из рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку в станок и остался на всю жизнь инвалидом. А Павел отвечал за технику безопасности как бригадир. Андрей отправился узнать, что да как, и пропал, вернулся только на четвертый день. Рассказал, что Павла таскают по комиссиям. Андрей' собрался уезжать. И только тут Дарья вспомнила, что за все то время, что он пробыл на Матёре, он ни разу не прошелся по местам своего детства, не погоревал тайком, что больше никогда их не увидит... “Прощай и ты, Андрей. Не дай бог, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой”. Дарья ждала на подмогу невестку Соню, но та не появилась. Только на второй неделе приехал Павел, отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, сказал, что будет теперь работать на тракторе, привез старухам чаю и сахару, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, уехал. И неожиданно Дарья вспомнила Мирона, своего мужа, — вспомнила и замерла от стыда, совсем редко приходит он ей на ум. У Мирона не было своей могилы — он пропал в тайге вместе со своими собаками. Было ему тогда пятьдесят с лишком. Примерно столько, сколько сейчас Павлу, только был он покрепче, поживее, характером потверже. Дарья шла домой и просила Господа взять ее к себе. Всем она тут чужая.

16

После не то чтобы спокойных, но все-таки мирных, как бы домашних дней нагрянула на уборку орда из города, человек в тридцать, — все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек, мужики — тоже молодые, разудалые. В первый день они так перепились, что назавтра двоих пришлось отправлять к врачу. Матёре хватило одного дня, чтобы перепугаться до смерти. Все сидели по домам. Худо ли, бедно ли, но приезжие все-таки что-то начали делать, хлеб потихоньку убирался.

А время шло. Утренники стояли холодные и ленивые, подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Днями припекало, с полей доносился приятный стрекот комбайнов, на одном работал свой, материнский., на другом — кто-то из приезжих. Бабы начали потихоньку эвакуировать из деревни мелкую живность — куриц, поросят, овец. Для коров и для сена рубилась мужиками и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками большегрузная платформа. Подожгли мельницу. Вечером Дарья вышла на улицу и ахнула, увидев высокое зарево слева от деревни. И, воротясь торопливо в избу, растормошила Екатерину:

— Пойдем простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их — никто добрым словом не помянет... Помешала она им. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас под послед увидит.

Стоявший рядом мужик спросил — в голосе его прозвучало участие:

— Хорошая была мельница?

— Хорошая, — без испуга ответила Дарья.

— Понимаю, — кивнул он. — Послужила, выходит, службу. — И протянул: — Пое-ехала!

Возвращаясь от мельницы, Дарья с Катериной натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала. Симу трясло от страха. Но страшно было не только ей одной. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и унес ее. Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том тереме... После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул — этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак.

У Дарьи ложились в сумерках, после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. И начинался разговор. Говорили о разном, но от Матёры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли. На сей раз предметом разговоров стал Петруха, который, как стало известно, взялся за знакомое дело, занимается поджогом оставленных домов. Ему за это платят. Мать Петрухи Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить ему того, что он жжет чужие. Целый день она охала и стонала. Дарья на ее причитанья сказала:

— Че ты расстоналась? Не знала ты, че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только один он у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видела, сколь их там было?

— Пущай другой... Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее будет.

— А на што ему отмывать? Он и с ей проживет не хужей других. Ишо и

хвалиться будет.

— Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня

будут пальцем тыкать.

Катерина задумалась. Следует ли ей стыдиться перед людьми за себя и за Петруху, если он сам не ведает стыда? Дарья вот все понимает и ее не осудит. А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала, то же и говорила. Они еще какое-то время обсуждали Петруху, способного пожалеть приблудного щенка, но бросившего мать на произвол судьбы. Сима жалуется на свою судьбу, ее полуненормальная дочь сгинула неизвестно куда, бросив ей внука, а у нее ни кола ни двора. Она мечтает найти какого ни на есть старичка, с которым жила бы и растила Кольку. Засыпая, Дарья размышляет: “Не об чем, люди говорят, твоему сердцу болеть. Только по-што оно так болит? Хорошо, ежли б о чем одном болит — поправить можно, а ежли не о чем, обо всем вместе? Как на огне оно, христовенькое, горит и горит, ноет и ноет. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая, в чем каяться мне?.. Рази можно без покаяния?”

18

Убрали хлеб, и покрапал редкий, мягкий дождь. Приезжие перед отъездом устроили дикую драку и гонялись друг за другом с криком по деревне. На совхозную картошку стали привозить школьников, им в помощь снимали с разных служб в поселке женщин — из конторы, больницы, детсада... Материнские бабы копали свою картошку и не знали, что с ней делать, как переправить в поселок, тем более что ссыпать там ее было некуда. Павел повез пятнадцать мешков, а на огороде куча как будто и не убавилась. Многих выручила нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали картошку, — по четыре рубля за мешок. Продал последние двадцать кулей и Павел. И без того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков. Разбогатела на двадцать рублей и Сима. Настасья все не ехала из города, и бабы не знали, что делать. Они выкопали ее картошку и ссыпали в избе на пол неизвестно зачем — чтоб сгореть ей, наверное, вместе с избой. С трудом свели на паром корову. Павел предложил Дарье ехать и ей, но она твердо отказалась. У нее еще есть дела. “И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и ни к чему спрашивать: “Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные. Под воду?” На Павла жалко было смотреть. “Если мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут, — предрекла она. — 0-ох, нелюди мы, боле никто...”

Она идет на разоренное кладбище, находит в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать. Она поклонилась ему и опустилась рядом на землю. Дарья рассказывает родителям, что помирать ей придется в чужих местах, но она не виновата. Виновата в том, что все это на нее пало. Надо было умереть раньше, тогда были бы вместе. И вдруг ей пришло на ум, что она не прибрала к смерти избу. Приберет. А пока совсем другие думы: “Зачем она живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, или ради чего-то еще? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного продергивания — зачем тогда приходить на эти могилы? Что это было — то, что зовут жизнью, кому это надо? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни”.

19

“Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить “она” об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, “царский листвень” — так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знае-мый всеми... Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, “царским лиственем”, и крепится остров к речному дну, к одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра... И вот настал день, когда к . нему, к “царскому лиственю”, подступили чужие люди”. Только он им не поддался. Но вокруг него теперь было пусто.

20

Известки не было, а потому Дарье пришлось самой идти на косу близ верхнего мыса, подбирать белый камень, через силу таскать его, а потом через не могу зажигать его, как в старину. Когда начинала, сама не верила, что хватит сил, но известку добыла. Ей предстояло обрядить избу, да только не ко празднику. Появились пожогщики, стали торопить. И Дарья заторопилась. Борясь с головокружением, она белила потолок. От помощи Симы отказалась. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя... тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Снова появился поджигатель и разинул рот от удивления. Дарья сказала ему приходить завтра, но ни в коем случае внутрь не входить, не поганить избу. В тот же день Дарья выбелила и стены, подмазала русскую печку. Занавески у нее были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голове глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет — и не встанет.

Утром чуть свет она была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Хорошо, что осталась известка. От помощи отказывалась. Она добеливала ставни у второго уличного окна, когда снова проистановились, проходя мимо, пожогщики. И один сказал ей: “Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все... переезжайте. Ты меня слышишь?” — “Слышу”, — не оборачиваясь, ответила Дарья. Она села на теплую завалинку, вволю, во всю свою беду и обиду заплакала — сухими, мучительными слезами, настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!

В обед собрались опять возле самовара — три старухи, парнишка и Бо-годул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные уехали. Дарья сказала, что пожогщики оставили огонь до завтра и пригласила всех ночевать, как раньше.

После обеда она вымыла пол, посыпала его сухой травой (свежей не нашла), повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила по местам кухонную утварь. И вдруг вспомнила, что по углам должны быть ветви пихты. Она пошла ее искать — и нашла. От пихты тотчас повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи, сладкое заунывное пение. Всю ночь Дарья молилась, виновато и смиренно прощаясь с избой, а утром собрала сундучишко с похороннным обряженьем, в последний раз перекрестила передний угол, мык-нула у порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла, прикрыв за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Сима с Катериной поджидали ее. Она сказала, чтобы взяли самовар, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку, оставила там свой сундучок и вошла к пожогщикам: “Все, — сказала она им. — Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой...” И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила только, что все шла и шла... и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза. Под вечер приплывший Павел нашел ее возле “царственного лиственя” и сообщил о приезде Настасьи.

21

Муж Настасьи Егор, которому она вечно приписывала всяческие хвори, умер на самом деле. Настасья вернулась на остров. Все сгрудились в грязном жилище Богодула. Но другого жилья на Матёре не осталось. Пожогщики, уезжая, приказали остающимся, чтобы сожгли барак сами. Павел не знал, что делать, в одну лодку все не помещались. И он решил, что через два дня возьмет катер и увезет всех. Так они вшестером остались на Матёре. Настасья долго и подробно рассказывала о кончине своего Егора. Богодул вздул самовар и заварил чай. Не было ни лампы, ни свечи, сидели в темноте. Дарья вдруг предложила Настасье взять с собой в город Симу с мальчиком, которым некуда деваться. Та с радостью согласилась.

22

Павел в сумерках возвращался домой по голой, без единого деревца, улице поселка. Что верно, то верно — это не Матёра. Вот и не стало Матёры-деревни, а скоро не станет и острова. Все •— поминай как звали. Но удивительно, непонятно было и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся боли; будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились больше, чем от самой потери. Хватит... никаких сил уже не осталось. Павел со стыдом вспомнил, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул, тянул из себя какое-то сильное, надрывное чувство — не пень ведь горит, родная изба — и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа! Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к жизни, после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел.

Что-то не хотелось ему идти домой... Вечер тек тихо и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он, уезжал с Матёры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с острова сразу всех... но сейчас вдруг стало не по себе. И не “вдруг” — что-то ныло и наплескивалось постоянно с той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. И опять он не поверил, что когда-нибудь мать войдет в эту калитку. После ужина явился Петруха и с ним начальник Воронцов. Стали кричать на Павла за то, что не увез всех с острова. Завтра государственная комиссия. А барак стоит! К утру чтоб ни барака, ни людей.

И они трое на машине отправились к причалу. Когда выскочили на открытое место в полутора километрах от реки, на машину двинулись сначала редкие, затем все больше и больше нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Отчалили. Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте... Они время от времени глушили мотор и кричали, но Матёры не было... “Так нам и надо, — уже с последней, безучастной мыслью, обращаясь к Воронцову, сказал Павел. — Какого дьявола было на ночь плыть — до утра бы не подождали, что ли?”

Заплакал со сна мальчишка, и старухи, дремавшие сидя, каждая на своем месте, где устроилась с вечера, очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая. Ребенок умолк.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако,

боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе, оно и ладно. Че еще надо-то?

— Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо. Испуганный и решительный голос Симы:

— Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.

— Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?

— Что там в окошке видеть-то? Гляньте кто-нить.

— Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.

Сполз с нар проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:

— Че там? Где мы есть-то?

— Не видать, кур-рва! — ответил Богодул. — Туман.

Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой. Тут же его точно смыло, и сильнее запестрило в окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто споднизу, донесся слабый, едва угадывающийся прощальный голос Хозяина.